

ХИШАМ МАТАР МОИ ДРУЗЬЯ

РОМАН

Перевод с английского
Марии Александровой



phantom press

Москва

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)
МЗЗ



MY FRIENDS by HISHAM MATAR

Copyright © 2024 by Hisham Matar

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана при содействии литературного агентства RCW

Перевод с английского Марии Александровой
Редактор Игорь Алюков

Художественное оформление и макет Андрея Бондаренко

Хишам Матар

МЗЗ Мои друзья: Роман / Пер. с англ. М. Александровой. — М.: Фантом Пресс, 2025. — 480 с.

Номинация на премию “Букер” 2024 г., премия Оруэлла 2024 г., автор — лауреат Пулитцеровской премии.

Мастерски написанный, проникновенный роман о трех друзьях, живущих в политической ссылке, и о дружбе — их эмоциональном прибежище. Халед и Мустафа впервые встречаются в Шотландии, в Эдинбурге, в университете, после учебы оба рассчитывают вернуться в родную Ливию. Однажды они отправляются в Лондон, чтобы поучаствовать в демонстрации перед ливийским посольством. Когда из посольства открывают стрельбу, оба получают ранения, и их жизни навсегда меняются. В последующие годы Халеда, Мустафу и их третьего друга, писателя Хосама, связывает воедино общая история. Революция в Ливии ставит всех троих перед выбором — выбором между жизнью, которую они создали в Лондоне, и жизнью, которую они оставили позади.

ISBN 978-5-907943-05-6

© Мария Александрова, перевод, 2025
© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2025
© «Фантом Пресс», издание, 2025

Разумеется, невозможно знать наверняка, что таится в чужой душе, не говоря уже о своей собственной или душах тех, кого хорошо знаешь, — возможно, особенно тех, кого знаешь лучше всего, — но, стоя здесь, на верхнем уровне вокзала Кингс-Кросс, откуда я могу наблюдать за своим старым другом Хосамом Зова, идущим через вестибюль, я словно вижу его насквозь, понимаю его точнее, чем когда-либо прежде, как будто все это время, все два десятилетия, что мы знаем друг друга, наша дружба была наброском, эскизом, а теперь, по иронии судьбы, сразу после того как мы распрощались, его портрет предстал наконец завершенным. Возможно, это и есть естественный порядок вещей — когда дружба подходит к необъяснимому концу, или постепенно угасает, или просто растворяется без следа, то изменения, которые мы переживаем в этот момент, кажутся неизбежными — судьбой, которая все это время надвигалась, как некто, приближающийся издалека, кого узнаёшь, только когда встречи уж не избежать. Никто на свете не был ближе моему сердцу. И я точно знаю, глядя, как он идет к своему поезду до Парижа — города, где мы впервые встретились давным-давно и самым невероятным образом, — я убежден, что там,

где смыкаются ребра в грудной клетке, он несет невидимое бремя, которое я, кажется, могу различить даже издалека.

Когда он еще жил в Лондоне, не проходило и недели, чтобы мы не отправились на прогулку по парку или вдоль реки. Порой мы спорили, обычно по поводу запутанного литературного вопроса, и эти споры, как, вероятно, любые споры, маскировали более глубокие разногласия. Иногда я — к собственному сожалению, поскольку этот жест всегда меня раздражал — постукивал пальцем по его груди и на неуловимое мгновение прижимал ладонь, как будто удерживая там нечто, что якобы вложил, и вновь замечал отчетливый абрис его ребер и то, как странно выпирали его кости, словно в постоянном ожидании нападения.

Он не знает, что я до сих пор тут. Думает, я ушел, поспешил на званный ужин, куда, как сам сказал, уже опаздывал. Не знаю, зачем я соврал.

— С кем ты ужинаешь? — спросил он.

— Ты не знаешь.

Он посмотрел на меня, как будто наши пути уже разошлись и настоящее стало прошлым, я стоял на берегу, а он — на борту судна, отплывающего в будущее.

Эта ноша в груди, видел я, чуть отклонила назад его плечи, вынуждая слегка выпятить бедра, компенсируя наклон и удерживая от падения лицом вперед при малейшем толчке. Издаека он и впрямь выглядел человеком, одержимым действием, устремленным вперед, полным решимости вступить в новую жизнь.

Годы, прошедшие с 2011-го, с Ливийской революции и всего, что за ней последовало — бесчислен-

ные неудачи и упущенные возможности, похищения и убийства, гражданская война, целые города, что сровняли с землей, правление боевиков, — изменили Хосама. Свидетельством тому не только осанка, но и множество мелочей: легкая дрожь в руках, заметная всякий раз, как он подносил сигарету ко рту, недоверие в глазах, постоянная настороженность и лицо, словно пейзаж перед непогодой.

Вскоре после начала революции Хосам вернулся домой и — вероятно, это закономерно — мы отдалились друг от друга. Он изредка наезжал в Лондон, общались мы непринужденно, но как-то менее искренне. Уверен, он тоже заметил перемены. Иногда он останавливался у меня, ночевал на диване в моей студии, в одной комнате со мной, и мы могли долго разговаривать в темноте, пока один из нас не засыпал. Однако чаще он снимал номер в маленьком отеле в Паддингтоне. Мы встречались там, и этот район, расположенный вокруг вокзала, который отбрасывает на все окрестные улицы тень мимолетности, временности, заставлял нас обоих чувствовать себя просто приезжими и усугублял ощущение, что наша дружба стала лишь подобием того, чем была раньше, когда Хосам жил здесь и мы делились друг с другом этим городом, как честные работяги делятся инструментами. Но сейчас, разговаривая, Хосам часто смотрел в сторону, и казалось, что он думает вслух или беседует сам с собой. А я, рассказывая ему о чем-нибудь, замечал, как чуть подаюсь вперед, и улавливал в своем голосе почти сварливые нотки, как будто пытался убедить его в сомнительном предложении. Именно те, кто хотел бы никогда не расставаться, наиболее склонны к неискренности и нуждаются в ней более всего.

Хосам вчера вечером приехал из Бенгази. Мы засиделись за разговорами до рассвета. Он уснул на диване и проспал полдня. Нам нужно было спешить на вокзал Сент-Панкрас, откуда уходил его поезд до Парижа, где Хосам задержится на пару дней, а потом полетит в Сан-Франциско. Лондон — это место, где он жил когда-то. *Я должен с тобой повидаться*, — было в сообщении, отправленном из Бенгази, — *прежде чем уеду жить долго и счастливо до конца дней*. А двадцать один год назад, когда Хосам был достаточно молод, чтобы поддерживать иллюзию самосозидания, промежуточным этапом жизни для него стал Париж. *Хочу увидеть его еще один, последний раз*. Это он заявил вчера, едва войдя в мою квартиру.

Я поехал забрать его из аэропорта, и всю дорогу в метро от Хитроу до Шепердс-Буш* он только и говорил по-английски о своей новой жизни в Америке. И ни слова про последние пять лет, что он провел в Ливии, хотя только об этом я и надеялся услышать.

* Район Западного Лондона, где расположен крупнейший в Европе торговый центр, большой многонациональный рынок, а классические постройки соседствуют с современными. — *Здесь и далее примеч. перев.*

— Безумие, конечно. Я растерян и удивлен не меньше тебя. В смысле, планировать поселиться навсегда в стране, где никогда прежде не бывал, в доме, который никогда не видел, который мой отец спонтанно купил во время деловой поездки еще в молодости, задолго до моего рождения. И вот теперь я собираюсь растить своего ребенка там, в Америке. — После короткой паузы, в течение которой поезд прогреготал по тоннелю, он добавил: — Бедняга, — имея в виду своего покойного отца.

Сменялись станции, двери открывались и закрывались, выпуская пассажиров и впуская новых, а он рассказывал мне то, что уже говорил раньше, — как его отец влюбился в Северную Калифорнию.

— Он собирался ездить туда каждое лето, а потом ему запретили путешествовать вообще, на всю оставшуюся жизнь.

Тут он рассмеялся, и я почувствовал себя обязанным поддержать.

Через проход от нас сидело молодое семейство. Мужчина — красивый темнокожий, с дерзкой искоркой в глазах. Женщина — белая блондинка — полупшепотом разговаривала с сыном. Мальчик на вид лет девяти, с шапкой курчавых волос, отливающих коричневым и золотистым, от которых голова его казалась вдвое больше. Мать время от времени запускала в них пальцы. Он стоял, глядя на нас, мальчик, держась за колени родителей. Покачнулся, когда поезд тронулся. Было в этих людях что-то неуловимо демонстративное. Осознание, что они красивая семья. Все трое не сводили с нас глаз, словно настраиваясь на то, что говорил Хосам. Он часто производил на людей такой эффект.

— Только представь, — продолжал он. — Ни с того ни с сего купить вдруг дом и прожить всю

оставшуюся жизнь, не имея возможности даже увидеть его. Даже в самые тяжелые времена он отказывался его сдавать. Пока Пойнт-Рейес — ближайший городок — не стал аллегорией, олицетворением утраченного и невозможного, моей семейной Атлантидой.

Мы выехали из-под земли, и вагон заполнился светом. Прекрасное семейство глазело на виды, открывающиеся за окном позади нас.

Отправив все свое имущество в Калифорнию, Хосам путешествовал налегке. Я узнал старый чемодан. Маленький, синий и потрепанный. Тот же самый, с которым он вернулся из Парижа и с которым ездил потом, когда отправлялся с Клэр, своей подружкой, поплавать в реке Дарт в Девоне — они оба любили так развлекаться время от времени. Увидев знакомый предмет, я затосковал по тем временам, когда Хосам жил в Лондоне и довольно долго в квартире прямо подо мной, которая занимала весь первый этаж таунхауса, к ней еще прилагался запущенный садик на заднем дворе. Моя спальня располагалась прямо над их гостиной, и много ночей я засыпал под тихое бормотание его с Клэр голосов.

Все сложилось естественным образом. Хосам вернулся в Лондон, а квартира освободилась. Сначала он колебался, и я понимал, что не надо его подталкивать. Низкая арендная плата решила дело. Чуть позже к нему переехала Клэр. Ирландка, нежная, умная, и в ней чувствовалась твердость, которая ясно давала понять, что не стоит за нее переживать, что последнее, в чем она нуждается, — ваше беспокойство за нее. Помню, как-то мы ждали ее в кафе и она опаздывала. Хосам бесконечно проверял свой телефон. Я подумал, не волнуется ли он. “Волнуюсь? — откровенно озадаченно переспросил он. — Я нико-

гда не волнуюсь за Клэр”. Они познакомились в дублинском Тринити-колледже, где Хосам изучал английский язык, а Клэр — историю. Она любила напоминать нам, что она здесь тоже в изгнании.

— Однако должен тебе признаться, — продолжал Хосам, чуть тише и придвинувшись поближе, но все так же по-английски, — эти последние несколько недель, пока мы паковали вещи и готовились к переезду, мой старик, помилуй Господи его душу, не выходил у меня из головы. Понимаю, это звучит безумием, но я уверен, что он знал, что этот момент придет, что его черная овца — сын, которому, как он говорил матери, суждены либо великие свершения, либо полный крах, — однажды плюнет на все и уедет в Америку — страну, откуда никогда не возвращаются.

Мы вышли на нашей станции, и, шагая к дому, где он некогда жил, Хосам отмечал изменения, случившиеся со времени его прошлого приезда: старая пекарня уступила место супермаркету, попытки реконструкции Шепердс-Буш-Грин — большого треугольника травы, вокруг которого всегда было оживленное дорожное движение.

Он притих, когда мы добрались до знакомой улицы с рядами домов по обе стороны. Я, как всегда, не копался с ключами и за все годы, что тут прожил, ни разу не забывал ключи дома, не терял ни их, ни бумажника. Неизменные привычные детали — почта, разбросанная по выцветшему ковру, свет, который гаснет еще прежде, чем вы доберетесь до верхней площадки.

— Но Париж, — вдруг сказал он, пока мы поднимались по лестнице. — Это чистая ностальгия.

Хосам поставил чемодан в кухне и пошел напрямик в ванную, оставив дверь широко открытой.

Намылил руки и лицо, продолжая рассказывать про свои планы — как он хотел бы пройтись по знакомым улицам, навестить сад Сен-Венсан, куда он однажды водил меня. По мере того как вечерело, лицо его менялось. Сидя в моей кухне с маленьким чемоданом у ног, он будто бы сидел не просто поставив рядом свое имущество, но и отложив в сторону собственное сердце, преодолевая расстояние между Ливией и Америкой, между своей прошлой жизнью и будущей. Возможно, сейчас, когда он оказался в Лондоне, где-то на полпути, и услышал себя, рассказывая мне о своих планах, и, несомненно, почувствовал отсутствие восторга с моей стороны, ему внезапно открылась истинная природа того, что он затеял: иллюзия, будто можно уехать в Америку, как на другую планету, и никакие призраки прошлого не последуют за ним. Было очевидно, что этот тур по двум его бывшим городам отчасти объяснялся сожалением о прошедшей жизни, которая приносила много радости, пока все не переменилось, пока ливийский ветер, гнавший нас на север, не повернул вспять, чтобы унести своих детей домой.

— Мы на волне, — сказал он тогда, в мятежные бурные дни Арабской весны, когда пытался убедить меня вернуться вместе с ним в Бенгази. — В ней и на ней. Глупо думать, что мы свободны от истории, это все равно что не зависеть от гравитации.

Той ночью я почти не спал. Хосам встал поздно, проглотил свой кофе, и мы вышли из квартиры, не прибрав за собой, как будто в любой момент могли вернуться и вновь завалиться спать.

На 94-м автобусе мы доехали до Мраморной арки*, там пересели на 30-й. Устроились наверху, он у окна, глядя на улицу, а я — наблюдая за ним. Я размышлял обо всех коллизиях, случившихся с ним с тех пор, как уехал отсюда. Спустя более чем тридцать лет отсутствия Хосам наконец вернулся домой повидаться с семьей. Влюбился там в свою кузину Малак, которая, как он рассказывал в письме, “кажется, моя судьба”. Присоединился к революционному движению и с автоматом в руках участвовал в нескольких ключевых сражениях, пока не дошел до Сирта, родного города диктатора. Здесь он с группой уставших, измученных бойцов принял участие в решающем столкновении с силами режима. После авиаудара они выследили главный приз: Муаммара Каддафи, Полковника собственной персоной, — или, как описал его Хосам в письме ко мне всего несколько часов спустя, в два часа ночи по его времени,

* Триумфальная арка недалеко от Уголка ораторов в Гайд-парке.

“корень наших бед”, — прятавшегося в дренажной трубе в песках. “Он еле держался на ногах, — продолжал описание Хосам. — Как старый немошный дядюшка. И разве не этим он был для нас — не столько политиком, сколько спятившим родственником?”

Я прочел письмо сразу же, как оно пришло, примерно в три часа ночи по моему времени. В те дни мне редко удавалось заснуть. Я представлял, как Хосам сидит в чужой комнате в Мисрате*, представлял, как экран телефона подсвечивает его лицо голубым. Мисрата в 150 милях к северо-западу от Сирта — туда, как написал Хосам, они вместе с остальными бойцами приволокли труп диктатора.

Несколько дней спустя, когда Хосам вернулся к семье в Бенгази, он прислал сообщение:

ПОМНИШЬ ФАЭТОНА?

ОН БЫЛ ОДЕРЖИМ ИДЕЕЙ ДОКАЗАТЬ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ СЫНОМ СВОЕГО ОТЦА. “ТУТ УВИДАЛ ФАЭТОН СО ВСЕХ СТОРОН ЗАПЫЛАВШИЙ/МИР... ЛИВИЯ СТАЛА СУХА, — ВСЯ ЗНОЕМ ПОХИЩЕНА ВЛАГА”**. ЕСЛИ ВЕРИТЬ ОВИДИЮ, НАША СТРАНА СГОРЕЛА ИЗ-ЗА СВАРЫ МЕЖДУ ОТЦОМ И СЫНОМ. В ЭТИ ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ НЕПРЕРЫВНЫХ БОЕВ, БЕССОННЫХ НОЧЕЙ, ВЕЧНО В ПУТИ, Я ЧАСТО ЗАДУМЫВАЛСЯ ОБ ЭТОЙ ИСТОРИИ.

ЧТОБЫ В ИТОГЕ НАЙТИ ЕГО, НАШЕГО СПЯТИВШЕГО ОТЦА, СПРЯТАВШЕГОСЯ В ДРЕНАЖНОЙ ТРУБЕ В ТЕХ САМЫХ ДИКИХ ПЕСКАХ.

Вскоре после этих событий Хосам женился на Малак. У супругов родился ребенок. Хосам работал в новом

* Город на северо-западе Ливии, третий по величине город страны.

** Овидий, “Метаморфозы”, книга II, пер. С. Шервинского.

министерстве культуры, а когда все посыпалось и многочисленные группировки, боровшиеся за власть, обратили оружие друг против друга, он отошел от публичной деятельности, и в какой-то момент, пять лет спустя после его возвращения в Ливию, они с Малак решили эмигрировать в Америку, вместе с Анжеликой, своей четырехлетней дочерью.

Едва приземлившись в Сан-Франциско, я уже влюбилась, — написала Малак Хосаму вчера вечером, когда мы с ним собирались ужинать. Он прочел мне сообщение целиком, а потом добавил, скорее себе самому, глядя в телефон:

— Там сейчас полдень. Интересно, что у них будет на обед?

Уже через три дня они встретятся и поедут на север, два часа до Пойнт-Рейес. Все уже готово.

— Я никогда не был в Америке, — напомнил он мне, когда мы ехали в автобусе. — Но эти последние недели мысленно разглядываю ее. Северная Калифорния. Кипарисы я знаю. Но чем пахнет секвойя?

Чуть позже, когда автобус свернул на Марилебонроуд, он спросил:

— Думаешь, это хорошая мысль? Америка — в смысле, поселиться там?

Я хотел промолчать, изобразить равнодушие, отчасти по доброте, а отчасти из мести за те времена, когда он указывал мне, что я должен делать, как должен вести “более полную и активную жизнь”, так он однажды выразился, и вернуться в Ливию.

— Это хорошее место, чтобы растить ребенка, — сказал я наконец, хотя понятия не имел, правда ли

Америка хорошее место для детей и на что вообще теоретически может быть похоже такое место, из каких элементов оно может состоять и какими свойствами обладать. — Особенно Калифорния, — продолжал я. — Солнечный штат.

Хосам рассмеялся.

— Да бога ради, — усмехнулся он. — Не вздумай отправиться во Флориду, рассчитывая найти меня там. Ты же навестишь нас, правда? В смысле, я знаю, у тебя пунктик насчет полетов.

Я летал самолетом единственный раз в жизни, из Бенгази в Лондон, и это было в сентябре 1983 года. В 2011-м, вскоре после Революции 17 февраля, думая о возвращении домой, я планировал поездку по суше. Хосам сказал, что поедет со мной. “Чтобы одновременно ступить на родную землю”. Путешествие заняло бы три дня — несколько поездов и паром до Сицилии, потом до Мальты, а оттуда катер на воздушной подушке, который добирается до Триполи за пару часов. Я мысленно представлял все это и видел, как приближается родной берег и ветер шумит у нас в ушах, так что трудно расслышать, что мы говорим.

— Точно, — согласился я. — Солнечный штат — это Флорида. Я рад буду навестить тебя в Калифорнии.

Он, кажется, поверил.

— Кто знает, — с деланным воодушевлением продолжал он. — Может, тебе так понравится, что захочешь остаться. Билет в один конец. Мы снова станем соседями. И у Анжелики будет дядюшка рядом.

Я представил, как сажусь в самолет, с таблетками снотворного в кармане.

На вокзал Сент-Панкрас мы прибыли загодя. Я предложил посидеть в кафе в мезонине вокзала Кингс-Кросс.

— Не так шумно, — объяснил я.

На самом деле я хотел, чтобы вокруг были те, кто регулярно ездит поездом, — люди, возвращающиеся домой с работы или уезжающие на выходные, они как-то поспокойнее и выражают свои восторги более сдержанно. Регулярно посещая Британскую библиотеку, расположенную по соседству, я заходил сюда, перед тем как возвращаться домой, в это самое кафе, чтобы поглазеть на этот человеческий театр, который вдобавок становился еще более захватывающим, когда кто-то вдруг бежал с объятиями навстречу другому или утирал слезы, направляясь к поезду.

Мы заказали кофе и сели не лицом друг к другу, а по одну сторону маленького круглого столика, как два старикана, созерцающие окружающий мир или ожидающие, что Мустафа, третий из нашего треугольника, чудесным образом появится и присоединится к нам. Но Мустафа вернулся в Ливию и маловероятно, что когда-нибудь ее покинет. Два ближайших моих друга разъехались в противоположные стороны: Мустафа — обратно в прошлое, а Хосам — в будущее.

Я подозревал, что Хосам тоже, с этим своим маленьким чемоданчиком рядом, чувствовал, что напрасно тянет время, стремясь поскорее покончить с этим моментом и отправиться в путешествие. Мы выпили свои эспрессо и обнялись — возможно, подумал я, в последний раз.

Мы познакомились в 1995-м, когда ему было тридцать пять, а мне двадцать девять, и хотя мы знали друг друга уже двадцать один год, я удивился, услышав, как он прошептал: “Мой единственный настоящий друг”, выпалив эти слова стремительно и с глубоким чувством, как будто это было вынужден-

ное признание, как будто в тот момент и вопреки общим законам беседы речь предшествовала мысли и он — точно так же, как и я — впервые осознал смысл этих слов и — возможно, как и я — заметил одновременно радостный и скорбный след, который они оставили за собой, не только потому что прозвучали в миг нашего расставания, но и потому что придали еще более тоскливый оттенок иллюзорному свойству нашей дружбы, отмеченной огромной привязанностью и преданностью, но заодно и равнодушием, и подозрительностью, могучей природной связью и вместе с тем бездонной, невообразимой немотой, которая всегда, даже когда мы находились бок о бок, казалась не совсем преодолимой. Я, несомненно, в равной степени несу ответственность за эту дистанцию между нами, но все же мысленно продолжаю обвинять его, убежденный, что именно он предпочитал замкнуться в себе. Я ощущал его отчужденность даже в самые бурные времена. Но сейчас эти слова стали окончательным вердиктом.

Потом, прямо перед тем как уйти, он сказал:

— Останься здесь, — полагаю, имея в виду, что мне не нужно идти за ним следом.

Но то, как он произнес эти два слова, напомнило мне о том времени, когда Хосам вернулся в Ливию, а я отказался поехать с ним, не желая или не имея возможности вернуться домой, Халед Нерешительный, как они с Мустафой повадились называть меня в безумные и страстные дни революции, когда два моих единственных ливийских друга превратились в энергичных людей действия.

— Останься здесь, — повторил он, и на этот раз прозвучало похоже на просьбу, будто на самом деле он говорил: дай слово, что ты всегда будешь здесь.

И вот я стою на Кингс-Кросс, глядя, как Хосам идет через запруженный людьми зал со столь безразличным видом, что, столкнувшись вдруг с кем-то, он запросто пройдет сквозь него.

Иди за ним, говорю я себе.

И остаюсь на месте, кутаясь в это пальто и эту минуту, пока время коконом сворачивается вокруг меня. Весь век нашей дружбы заключен в этом мгновении.

Лондон — город, который я пытаюсь сделать своим домом последние три десятилетия, — мыслит конкретно. Он обожает классификации. Линия, отделяющая проезжую часть от тротуара, одного человека от другого, здесь притворяется столь же незыблемой, как научный факт. Даже теням отведено их место, а Лондон — это город теней, город, созданный для теней, для людей вроде меня, которые могут прожить здесь всю жизнь и все равно оставаться невидимыми, словно привидения. Я вижу его свет и камень, его сжатые кулаки и праздные газоны, его голодные рты и акры невыразимых тайн, мышцы, напрягающиеся вокруг меня. Из его крепкой хватки я провожаю взглядом старого друга, смотрю, как расстояние между нами увеличивается.

Давай, беги за ним.

Или мчись напрямиком к билетной кассе и удиви его уже в поезде.

Или сядь в другой вагон и несколько часов спустя, когда въедете в Париж, набери его и скажи, что сел в следующий поезд, и назначь встречу в старом кафе на углу площади Одеон, где вы провели несколько вечеров двадцать один год назад, когда впервые встретились, где постепенно узнавали друг друга. Расстаньтесь там, где все началось.

Но я стою где стою, окно мое закрыто, и мое одиночество подступает все ближе, как здание, возвышающееся над головой. Оно прижимается своим холодным камнем к моей спине. Хосам теперь лишь крошечная точка в море голов. Может, если я кинусь следом, то обрету свободу. Или потеряюсь и сорвусь с якоря. Нужно очень много тренироваться, чтобы научиться жить.

Иди, слышу я приказ и на этот раз бегу. Я уже на лестнице, перепрыгиваю через три ступеньки за раз, пугая окружающих пассажиров, уезжающих и приезжающих из разных мест, которые останутся для них доступными. Петляя в толпе, я удивляюсь, как быстро сумел преодолеть расстояние между нами. Вот же он, его незащищенная спина так близко, что если потянуться, можно положить ладонь ему на плечо. Я чуть отстаю, следуя за ним к выходу с вокзала. Он останавливается на светофоре, дожидаясь, когда можно будет перейти дорогу к Сент-Панкрас. Если он сейчас обернется, как я буду объясняться? Но когда это я чувствовал необходимость объясняться перед ним? Неважно, он все равно уже почти ушел, почти где-то в другом месте, околдованный планами, которые выдумал для себя, “чтобы наконец заняться частностями”, как он сформулировал вчера вечером, когда мы ужинали у меня на кухне, сидя за маленьким столом у окна, выходящего на то, что раньше было его садом и садиками его соседей. Я улыбнулся ему, подбадривая, и улыбка получилась еще легче, когда он показал мне в телефоне фотографию своей дочери. Нур — но он зовет ее Анжелика. Девчушка выглядела маленькой и решительной, не столько потому что мир принадлежал ей, но потому что она, по какому-то магическому стечению

обстоятельств, сама стала миром. Хосам рассмеялся и обнял меня.

— Почему Анжелика? — спросил я наобум.

— А почему нет? — ответил он, сияя от гордости.

— И вправду, почему бы и нет, — согласился я.

Загорелся зеленый, и я двинулся следом за ним на Сент-Панкрас. Пока он приближается к билетным кассам, я держусь на порядочном расстоянии. Хосам проходит через турникет и, прямо перед тем как скрыться за углом, оборачивается. Кажется, он не видит меня и продолжает свой путь. Или, возможно, он меня увидел, и сумрак в его глазах — это тот сумрак, что все мы прячем глубоко внутри себя, связанный с теми, кого любим.

Я иду к табло отправления. Вдруг его поезд задерживается или даже отменен. После нескольких объявлений, призывающих пассажиров на посадку, проходит добрая минута. Я представляю, как он входит в вагон, двери за ним закрываются и тяжелый состав трогается с места.